

*НОВЫЙ
Журнал*



*THE NEW
REVIEW*

НЬЮ-ИОРК

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал

Основатель М. ЦЕТЛИН

Четырнадцатый год издания

Кн.
XLIII
1955

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Мне едва исполнилось 19 лет, когда я познакомился и смело могу сказать подружился с Вячеславом Ивановым (ему в это время было 40 лет). Я подчеркиваю слово «подружился» не для того, чтобы похвастать своей дружбой с ним, а для того, чтобы указать на одно очень редкое в людях, и с моей точки зрения драгоценное, качество Вячеслава Иванова: он всегда говорил, что уважать нужно не только старость, но и юность; и действительно, по-настоящему уважал юность, за все четыре года моей большой дружбы с ним (1906-1910) не дав мне ни разу почувствовать нашу разницу лет.

Мое знакомство с В. Ивановым произошло летом 1906 г., в то богатое и счастливое для русской поэзии время, когда так часто появлялись новые поэтические таланты, открывавшиеся нашему поэтическому миру, казавшемуся нам целой вселенной и ксторый был для нас вселенной: — за его пределами для нас ничто не существовало. Никогда еще, разве кроме пушкинской эпохи, так не кипела *поэтическая жизнь*.

Летом 1906 г. я жил на даче в Лесном на Парголовской улице. В то время я еще не напечатал ни одной строчки, но был уже причастен к литературе и мог считать, что у меня есть солидный литературный багаж, о котором благовестил всему поэтическому миру мой товарищ Сергей Городецкий: у меня был увесистый рукописный том лекций по истории русской литературы (тотчас же по окончании 1-го кадетского корпуса я стал читать лекции по истории русской литературы на учительских сельско-хозяйственных курсах Барташевича) и кроме того у меня была рукописная статья «Per aspera ad astra» и несколько стихотворений, посвященных сестре Городецкого, (изданных мною тоненькой тетрадкой осенью 1906 года). Но главное — я бредил Пушкиным и новыми поэтами. Едва ли не каждый день я бегал на Новосильцевскую улицу к Городецким — к Сергею и его сестре Татьяне. У него я познакомился уже со многими настоящими поэтами: с умным поэтом Владимиром Пястом, но, конечно, гораздо важнее было для меня знакомство

с Александром Блоком, который стал моим кумиром. Блок в это время написал свои «Вольные мысли», которые казались мне самым совершенным из всего, что создала русская поэзия после Пушкина, достойным стать рядом с Пушкиным. Я очень скоро сблизился с Блоком и до сих пор горжусь этой дружбой. Я думаю, что культ Пушкина более всего способствовал нашему с ним сближению. У Блока был настоящий культ Пушкина. Недаром в 1 томе сочинений Пушкина под редакцией С. А. Венгерова (издание Брокгауза и Ефрона) было помещено множество примечаний за подписью А. Блока и недаром одно из самых последних стихотворений Блока (если не самое последнее) было посвящено «Пушкинскому Дому»; да и последней его лебединою песней была речь о Пушкине в Доме Литераторов, в которой он так резко говорил о большевиках, будто хотел искупить свой грех — поэму «Двенадцать», понятую как дифирамб советской власти.

Блок дарил меня своей дружбой и вниманием и, между прочим, дал мне свои университетские книги (он только что окончил университет, а я поступил в него), а в 1907 г. манускрипт своего сборника стихов «Снежная маска». Подружиться с Блоком было нелегко. Когда-то (но это было давным давно) он дружил с Андреем Белым, был дружен с Вл. Пястом; дружил с Сергеем Городецким (вернее поддерживал его при его первых шагах на поэтическом поприще, и очень скоро стал остывать к нему), но по-настоящему дружил он только с казавшимся очень сереньким, незаметным человеком с рыжей бородкой — с Евгением Павловичем Ивановым. Вячеслава Иванова он уважал, признавал и высоко ценил, но другом его собственно никогда не был и не мог быть: Блок был в высшей степени целомудрен, боялся красных слов и аффектов:

Молчаливые мне понятны,
Я люблю обращенных в слух,

а велеречивого Вячеслава Иванова меньше всего можно было назвать «молчаливым» (молчаливым был Е. П. Иванов).

Блок был одним из членов-учредителей возобновленного в 1907 г. Религиозно-философского общества, но очень скоро разочаровался в нем, так как находил, что члены его (конечно, кроме А. В. Карташева, который весь горел и сгорал на огне веры) больше занимаются блудословием, чем богословием и нецеломудренно играют высокими и красивыми фразами и мыслями. Блок казался всегда серьезным и задумчивым

— точно какая-то грусть покрывала его лицо и делала его более похожим на маску (с такой маской и нарисовал его портрет К. А. Сомов). Но Блок любил и шутки: я помню, как летом 1907 года он вместе с Городецким и Пястом шуточно-издевательски переделывали имена поэтов и их произведений, не щадя при этом и себя: так, Вячеслав Иванов сделался «Узыкачесановым», его «Прозрачность» — «Невзрачностью»; Валерий Брюсов превратился в Похерия Злюсова, его «Urbi et Orbi» в «Вырви и порви», «Венок» в «Веник»; «Стихи о Прекрасной Даме» Блока в «Хи-хи, напрасно вы сами» А. Плоха; его «Нечаянная радость» в «Отчаянную гадость», «Золото в лазури» Андрея Белого в «Здорово надули» (что было особенно зло, т. к. после «Золота в лазури» от Белого ждали великих поэтических откровений, которых так и не дождалось), «Трагический зверинец» Л. Д. Зиновьевой-Аннибал в «Таврический гостинец» (башня В. Иванова находилась в д. № 25 по Таврической улице), «Перун» Сергея Городецкого — в «Перуин» Гордея Безуздецкого, мой «Соборный индивидуализм» — в «Заборный ерундилизм» и проч. и проч.

Семейная жизнь Блока мне была мало понятна: он был женат на очень красивой и очень привлекательной Любови Дмитриевне (дочери Д. И. Менделеева), был очень дружен с нею, но пренебрегал ею как женой. Зимы 1906-1907 и 1907-1908 гг. я часто бывал у Блоков и не пропускал ни одного представления «Балаганчика», при чем одно представление этой пьесы не походило на другое. Мы радовались друг другу при встречах, но всё больше и больше молчали — «молчаливые мне понятны...» — и в конце концов оказалось, что нам не о чем говорить, и если продолжали встречаться, то только потому, что Блок считал себя как бы обязанным быть верным дружбе. Последний раз я видел Блока весной 1920 года, когда после всех моих южных перипетий я вернулся в Петербург, и эта встреча показала мне, что мы стали уже чужими людьми.

Возвращаюсь к знакомству с Вяч. Ивановым. Сергей Городецкий так много и восторженно рассказывал мне о нем, что я, больше чем о знакомстве с Блоком, мечтал увидеть «самого» Вячеслава Иванова. Восторги Городецкого были вполне понятны: так много сделал для него В. Иванов, открывший мифотворческий талант Городецкого (в ту эпоху для Иванова ничего не было значительнее мифотворчества и соборности) и объявивший об этом всему нашему миру. Вяч. Иванов сразу уверовал в поэтический талант Сергея Городецкого и только

постепенно стал охладевать к нему; каждый новый сборник стихов Городецкого казался ему слабее предыдущего; больше всего он любил «Ярь», «Перун» ему казался слабее, а после «Дикой Воли» и «Ии» он почти даже перестал интересоваться своим мифотворцем.

Итак, я всё ждал дня, когда наконец увижу Вячеслава Иванова и уже начинал отчаиваться. Наконец этот день наступил: прибегает ко мне, запыхавшись, Сергей Городецкий: — Модест, иди скорее, Вячеслав приехал!

Конечно, я сейчас же побежал с Сергеем и увидел Вячеслава Иванова и его жену, Лидию Дмитриевну Зиновьеву-Аннибал (Зиновьева — была ее настоящая девичья фамилия, она была сестрой шталмейстера А. Д. Зиновьева, б. предводителя петербургского дворянства; Аннибал — думаю, что присвоенная, хотя она уверяла, что в ее жилах течет кровь Аннибалов). Какое было мое первое впечатление от них?.. Я бы сказал, — двойственное. Вячеслав Иванов мне показался и очень старым (понятно, что человек в 40 лет должен казаться 19-летнему юноше стариком), и очень молодым, и очень просветленным со своими золотистыми волосами (у него была очень редкая шевелюра) и каким-то неприятно плотоядным (у него был неприятный, сладострастный подбородок, который он очень долго скрывал маленькой бородкой). Лидия Дмитриевна с первого взгляда мне не понравилась. Она была какой-то громоздко-неуклюжей в непривычном для нее городском платье и большой, немодной шляпе (дома она всегда ходила, — впрочем, она редко ходила, а больше лежала или полулежала на софе, — в разлетающемся хитоне, и я иначе ее — Диотиму Вячеслава Иванова, перед которой он благоговел, — и не представляю себе). Мы очень недолго оставались у Городецких, и почти тотчас же пошли гулять втроем — Вячеслав Иванов, Городецкий и я — в Лесновский парк, в прозрачно-светлую, золотую осень. О чем мы разговаривали? Вернее, о чем мы не разговаривали? Больше всех был слышен голос Вячеслава Иванова. Он в это время был еще под впечатлением последней книжки своих стихов «Прозрачность», манифеста, написанного им в сотрудничестве с Георгием Чулковым, — «Мистический анархизм» (который вызвал почти всеобщее осуждение и который не понравился даже нам, самым ярым поклонникам Вячеслава Иванова, что я не побоялся высказать ему в эту же прогулку), и самых прекрасных стихотворений, которые в следующем году составили его сборник «Эрос». Вячеслав Иванов

много декламировал (да и вообще вся речь его была больше декламацией, чем разговором): у него была манера чтения стихов, близкая к Александру Блоку, напевная (все тогда читали нараспев, а Андрей Белый и просто пел свои стихи), но менее в нос и более семантически — актерская. Помню, в какой восторг мы пришли от заключительного стихотворения в «Эросе» —

Млея в сумеречной лени, бледный день
 (понижение голоса)
 Миру томный свет оставил, отнял тень.
 И зачем-то загорались огоньки,
 И текли куда-то искорки реки.
 И текли навстречу люди мне, текли
 (повышение и ускорение),
 ♪! вблизи тебя искал, ловил вдали.
 Вспоминал: ты в околдованном саду,
 Но твой облик был со мной, в моем бреду.

Но так как Вячеслав Иванов был мало эгоцентричен (не то что Сологуб), то очень скоро разговор зашел обо мне. Вячеслав Иванов стал расспрашивать меня, чем я дышу, что пишу, заставил сбегать домой, принести статью «Per aspera ad astra» и тут же прочесть. Очень одобрил ее, и стал мне же ее объяснять (он очень любил растолковывать авторам их произведения, и от его толкований они становились, или казалось что становились, более значительными). Беседа окончилась тем, что Вячеслав Иванов пригласил меня быть постоянным гостем его «сред» на башне, о чем я так мечтал.

Вскоре эти «среды» открылись. Конечно, я был на первой среде и вообще до 1910 г. не пропускал ни одной среды, а через очень короткое время стал ежедневным гостем на Таврической улице. Но прежде чем говорить о знаменитых «средах» Вячеслава Иванова (чего только ни болтали о них досужие люди и петербургские газетчики!), скажу несколько слов о домашней стороне жизни башни, о том, что менее всего известно.

Я приходил на башню около пяти часов дня, до «утреннего» кофе Вячеслава Ивановича и оставался до утра — до 7-8 часов, когда младшие его дети, пасынок Костя, вскоре поступивший в 1 кадетский корпус и 12-летняя веселая Лидия, в то время усиленно занимавшаяся скрипкой, впоследствии ставшая композиторшей, — уходили в школу; в отдаленной комнате башни жил и старший пасынок Вячеслава — хмурый и скучный

19-летний Сергей Константинович Шварсалон; изредка появлялась дочь Вячеслава Иванова от первого брака, серая старая дева, еще реже брат Лидии Дмитриевны А. Д. Зиновьев.

На башне почти не было домашней жизни: Вячеславу Иванову было не до того, а Л. Д. весь день полулежала на софе и писала свои рассказы «Трагический зверинец» (почему он назывался трагическим — не понимаю: ничего трагического в нем не было, как не было собственно и зверинца). Всё хозяйство, все заботы о детях как и о практической стороне жизни, лежали на Марии Михайловне Замятинной, всецело посвятившей себя этой семье. Когда вставала Л. Д. — я не знаю, я всегда заставал ее в хитоне; Вячеславу Ивановичу около 5 часов дня приносили кофе в постель; вскоре после этого он вставал и начинал свои беседы с Л. Д., со мною, с приходившими гостями. Эти беседы прерывались около 8 часов вечера обедом и продолжались затем до глубокой ночи.

Вся жизнь Вячеслава Иванова, по крайней мере в эту эпоху, проходила собственно в разговорах — работал он очень мало, а когда работал, то трудно и торжественно. Я помню, как он писал статью о «Цыганах» Пушкина, заказанную ему проф. С. А. Венгеровым для Брокгауза и Ефрона: он писал ее бесконечно долго, и весь дом ходил на цыпочках и шептал: «Вячеслав пишет». Выезжал он очень редко, только в исключительных случаях, зато принимал очень охотно и радушно. Кто только ни бывал на средах! И признанные знаменитости, и совсем никому неизвестные люди. Сам Вячеслав Иванов не мог знать по имени всех своих посетителей, но всех дружески принимал. Бывали художники, поэты, музыканты. Хотя Вячеслав Иванов и любил музыку и думал, что понимает ее, но... к музыке он подходил очень странно: так, выше всего ставил он девятую симфонию Бетховена за ее финал с хорами и солистами и говорил, что Бетховен верно понял необходимость слова в музыке: музыка должна была перейти в слово, потому что ее одной оказывается недостаточно. Постоянными гостями сред были: вечно живой и волнующийся Александр Бенуа, Лев Бакст, милый, тихий Константин Сомов, сдержанный, молчаливый Мстислав Валерианович Добужинский (этажом ниже башни помещалась художественная школа Званцевой, в которой они преподавали). Иногда, но очень редко, появлялась громадная фигура С. П. Дягилева с петровскими усиками и немного снисходительной улыбкой. Из переводчиков постоянными посетителями были сестры Чеботаревские — старшая симпатич-

нейшая, умная и спокойная Александра Николаевна и младшая Анастасия, впоследствии утопившаяся. Петербургские поэты все бывали на «башне», но чаще всех в этом году — Городецкий, Блок, Пяст, Потемкин, получивший премию в «Золотом Руне» за свое стихотворение «Дьявол», Кондратьев и Михаил Кузмин; открыл Кузмина собственно Валерий Брюсов, но пустил в ход Вячеслав Иванов. Кузмин всех пленил своими «Александрийскими песнями», а потом «Курантами любви» и «Любовью этого лета». Каждую среду можно было слышать, как Кузмин, аккомпанируя себе на пианино, пел приятным баском свои стихотворения, переносившие нас в XVIII век. Само собой разумеется, что среды посещались и совсем юными, начинающими поэтами, из которых память мне сохранила только два облика — Георгия Иванова и Владислава Ходасевича, стихи которого уже тогда стали обращать на себя некоторое, но не особенно большое внимание.

Иногда приезжал на среды из Москвы друг-враг Вячеслава Иванова — Андрей Белый. Он очень дружески беседовал с Ивановым и объяснялся ему в любви, а через несколько дней Вячеслав с гневом говорил о новой измене «предателя» Андрея Белого. Несколько раз я видел на башне Бунина, в высшей степени надменно и презрительно смотревшего на всех молодых и «декадентов». Нужно сказать, что и «декаденты» не оставались перед ним в долгу и не очень почтительно говорили, что старовер Бунин попал в почетные члены разряда изящной словесности только потому, что подражал стихам августейшего поэта К. Р., президента Академии Наук.

Из молодых писателей часто бывали Б. К. Зайцев и А. М. Ремизов. К Зайцеву отношение было неопределенное — не то он «наш», не то он староверческое «Знание», но дарования его никто не отрицал. Другое дело Ремизов: он был всецело наш, и если далеко не все понимали его новую ритмическую прозу, то восторг выражали все. Я думаю, что больше всех понимали и ценили Ремизова трое: Вяч. Иванов, Н. А. Бердяев (и его жена Л. Ю.) и я. Странное впечатление производил этот интереснейший человек, обладающий громадным талантом: он всё время играл роль почти шута, но достаточно было видеть его несколько раз, чтобы понять, что за этой маской скрывается трагическое лицо. И эта трагедия Ремизова чувствовалась сквозь все его шуточки-прибауточки, сквозь все «Обезьяньи Палаты», для чего-то им придумываемые. Ремизовым всегда не

везло, и, когда они жили в Петербурге на Кавалергардской улице, им приходилось голодать и нуждаться¹. Их поддерживали сердечно относившиеся к ним Бердяевы, и даже я приходил к ним и на несколько дней варил им кашу (у меня долгое время сохранялись открытки Алексея Михайловича, начинавшиеся словами: «Кашу съели»). А в это время Ремизов сочинял свои прекраснейшие вещи, которые приводили многих в восторг, он был несомненной ведеттой в новых кружках.

Другой ведеттой, но избалованной, был в это время Михаил Алексеевич Кузмин. В нем тоже было что-то от маски, но никак нельзя было разобрать где кончалась маска и где начиналось настоящее лицо. Одно время я был с ним дружен и часто бывал у него; помню, как я был поражен, когда он после всех «Курантов Любви», заиграл мне совсем другую музыку — вдохновенную староверческими скитами, в которых он когда-то жил. Где же был настоящий Кузмин — в этой ли насыщенной мистическим трепетом музыке или в таких стихах, как —

Если завтра будет солнце,
Мы во Фьезоле поедем...

Часто на «средах» можно было видеть Юрия Никандровича Верховского, небольшого, скромного поэта, влюбленного в пушкинскую эпоху — в Пушкина, Дельвига и Боратынского, изучавшего их и находившегося под их формальным влиянием. При этом он обладал большим, привлекавшим к нему добродушием. Наши вкусы во многом сходились, и в эти годы мы были с ним в самых дружеских отношениях.

Посетители «сред» были так бесконечно разнообразны и многочисленны, что никогда нельзя было угадать, кого увидишь в громадной столовой-зале: там, где в эту среду сидел Блок и читал свою «Незнакомку» или новые стихи из «Снежной Маски», в следующую среду сидит... А. В. Луначарский. Сосчитать гостей было невозможно: только немногие оставались в столовой, большинство маленькими группами рассыпалось по всем комнатам башни, и то, что делалось в одной комнате, было неслышно в другой...

С каждой «средой» у меня всё увеличивался интерес к этим собраниям, и я буквально жил этими средами; но едва

¹ В то время Вячеслав Иванов, Бакст и Кузмин, да и вообще та среда, в которой был Ремизов, жили в полном довольстве.

ли я не еще более ценил мои ежедневные визиты к Вячеславу Иванову, когда никого у него не заставал кроме него, его жены и изредка Максимилиана Волошина. Тогда можно было свободно разговаривать с умнейшим и тонким человеком и «работать» с ним. А разговоров и «работы» было много. Я готовил к печати свой религиозно-философский очерк «Соборный индивидуализм», и каждую строчку читал Вячеславу Иванову. Всё написанное тут же обсуждалось и перedefеливалось. Работы особенно прибавилось, когда началась корректура. Все корректуры тщательно прочитывались по несколько раз, и после этого «чтения» я, собственно говоря, не имел бы права поставить одно свое имя в качестве единственного автора очерка. Книжка моя вышла в феврале 1907 года.

Кроме работы над «Соборным индивидуализмом», мы много занимались «Кормчими Звездами» Вячеслава Иванова. Он подарил мне экземпляр «Кормчих Звезд», но, конечно, без его помощи я никогда не осилил бы этой замечательной по содержательности, эрудиции и уму книги стихов. В. Иванов напечатал ее, будучи еще в Женеве в 1904 году, но никто ее не покупал, никто ее не читал и не понимал (она была слишком трудна) и все экземпляры ее лежали на башне. В. Иванова тогда еще никто не знал, только в следующем году приехав в Петербург, он как-то сразу стал во главе всей петербургской поэтической жизни. Он читал мне каждое стихотворение «Кормчих Звезд» и снабжал его такими богатыми и интересными комментариями, что мне открывался новый мир, и я понял и «Кормчие Звезды» и их автора, человека с богатейшей духовной и душевной жизнью.

Часто Вячеслав Иванов разбирал мои стихи (не отсюда ли у него возникла мысль о поэтической Академии, которая вскоре и начала свое существование на башне?) и растолковывал их мне самому — их автору. Кстати о поэтической Академии. Эти лекции Вячеслава Иванова посещались многими поэтами и писателями, между прочим, Гумилевым и Алексеем Толстым, и были действительно очень интересными и полезными для поэтов, хотя м. б. и слишком трудными. И вот я помню, как, кажется, Алексей Толстой, обладавший большим стихийным талантом, но не интеллектом, отличился. Во время одной очень замысловатой лекции, он вдруг прервал Вячеслава Иванова вопросом:

— А что вы, собственно, Вячеслав Иванович, называете ямбом?

Вскоре после выхода «Соборного индивидуализма», мне пришла мысль: написать книгу о новых поэтах. Я поделился этой мыслью с Пястом и Леманом-Диксом, и мы решили вместе составить сборник, в который вошли бы очерки, посвященные новым поэтам, их автобиографии и избранные стихотворения. Мы составили план и распределили работу: я редактирую книгу и пишу вступительную статью и очерки о Мережковском, Гиппиус, Сологубе, Александре Блоке и Сергее Городецком; Пяст пишет о Валерии Брюсове и Вячеславе Иванове (т. к. мне же очень хотелось написать о Вячеславе Иванове, то я добавил к его статье P. S. — сжатый очерк); Дикс — о Бальмонте, Кузmine и Волошине. Мы считали необходимым включить в книгу и Минского (это была ошибка), но никто из нас не считал его поэтом и не хотел писать о нем, поэтому мы уговорили товарища Пяста — Анатолия Попова, маленького и милого человека, написать о Минском.

Нечего говорить о том, с каким энтузиазмом отнесся к нашей мысли составить «Книгу о русских поэтах последнего десятилетия» Вячеслав Иванов и как он следил за ее осуществлением. С особенным интересом отнесся он к моей большой вступительной статье «Романтизм, символизм и декадентство», но его сразу же задела моя заключительная фраза (впоследствии мы много спорили с ним по поводу этой фразы, и она же послужила поводом для окончательной ссоры и разрыва моего с Вячеславом Ивановым). Утверждая, что новые поэты являются символистами, декадентами и романтиками и повторяя мысль Аполлона Григорьева о том, что романтизм является предвестием новой эпохи, я заканчивал свою статью словами: «И кто знает — находимся ли мы накануне величайшего расцвета искусства в России или накануне его гибели?». Вячеслав Иванов, в первый же раз, как прочел мою статью, потребовал от меня, чтобы я кончил ее не вопросительным знаком, а тем или другим положительным утверждением, но я был тверд и не исполнил его требования.

Писание книги подвигалось быстро, и к началу лета она была почти закончена. В мае месяце я простился с Вячеславом Ивановым и дорогой мне башней и уехал сперва в деревню Тамбовской губернии к Мосоловым, с которыми подружился у Пяста, а потом в Крым. На обратном пути я заехал в Харьковскую губернию к Бердяевым (и Николая Александровича и Лидию Юдифовну, его жену, я очень любил), и провел с ними целый день. Мы много разговаривали об истекшем годе. Бер-

даев говорил, что зима 1906-1907 г. была такая вихревая, что этот вихрь должен унести кого-нибудь из жизни. И как раз в это время умирала Лидия Дмитриевна — Диотима Вячеслава Иванова. Незадолго до того приехала из Швейцарии ее старшая дочь — 18-летняя Вера. Умирала Л. Д. от детской болезни — кори и, умирая, оставляла Вячеслава на свою Веру: «Вера — твои весы».

Когда я вернулся в Петербург, то прежде всего навестил осиротевшую башню. Меня познакомили с Верой, и мы при знакомстве («Модест» — «Вера») поцеловались, как будто бы век были близкими друзьями. Я стал посещать их ежедневно. Кроме мистических разговоров, у меня с Вячеславом Ивановым были и другие — издательские: он открыл издательство «Оры» и предложил мне быть секретарем с очень большим жалованьем для такой маленькой работы: 100 рублей в месяц. Мне, дававшему грошевые уроки, эта сумма казалась громадной, и я всегда совестился брать у него деньги. Издательство «Оры» выпустило за этот год 4 книги — «Трагический Зверинец» Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, «Эрос» Вячеслава Иванова, «Снежную Маску» Александра Блока и «Лимонарь» Алексея Ремизова, а также альманах «Кошницу». В смысле редакторском Вячеслав Иванов мне безусловно доверял, спрашивал моего мнения, и если я одобрял рукопись, поручал сдать ее в набор, а сам читал уже в корректуре. Но по поводу одного рассказа «Лимонаря» произошел скандал, чуть было не перешедший в настоящую ссору. «Лимонарь» Ремизова с его ритмической прозой приводил нас обоих в восторг. Я часто бывал у Ремизова, который читал мне новые рассказы из «Лимонаря», и я приносил их Вячеславу Иванову. Помню, я как-то пришел к Алексею Михайловичу, и он прочел мне новый рассказ — «О страстях Господних», который произвел на меня громадное впечатление. Я сейчас же побежал на башню и хотел прочесть эту вещь Вячеславу Иванову.

— А она действительно хороша?

— Изумительна! Может быть, это лучшая вещь в «Лимонаре»!

— Ну, так сдайте ее в набор, — сказал Вячеслав Иванов, очень бегло просмотрев рукопись. Я сдал ее в набор и вскоре принес корректуру. Вячеслав взял ее, пошел в свою комнату — и через четверть часа влетел в столовую, где сидел я, со страшным криком (он легко воспламенялся и бывал почти страшен в своем гневе):

— Как вы смели без моего ведома сдать в набор такую гадость! Неужели эта ходячая истерика в синей рубашке (я всегда носил русские рубашки) не понимает, что этот рассказ богохульство, гадость и никак не может быть напечатан в моем издательстве!..

Чего-чего он только ни кричал. Я отвечал очень спокойно:

— Во-первых, Вячеслав Иванович, очень прошу вас не кричать на меня; во-вторых, я показывал вам этот рассказ, и вы сказали мне, что я могу сдать его в набор; и в-третьих, не беспокойтесь: эта вещь не будет напечатана в «Лимонаре», а за набор я уплачу сам.

Вячеслав Иванов еще покричал-покричал, потом успокоился, но остался при своем мнении. Я заказал отпечатать рассказ в нескольких экземплярах, кажется в 25-ти, заплатил за это и принес их А. М. Ремизову. Ремизов был очень взволнован и сказал мне слова, которые я навсегда запомнил: — «Модест Людвигович, я вас люблю и потому даю вам совет: держитесь подальше от меня, потому что я приношу людям несчастье». Я думаю, что говоря о «несчастье», Ремизов имел в виду не столько настоящее несчастье, сколько путаницу, неразбериху, недоразумение, своего рода скандал; действительно, из-за чрезмерной любви его к шуткам, у него происходили недоразумения с людьми, не понимающими и не любящими шуток.

Я продолжал каждый день ходить на башню и проводить время в разговорах с Вячеславом Ивановым вплоть до того дня, когда со мной случился сильнейший припадок невроза сердца. Несколько поправившись, я через две-три недели уехал в Швейцарию, в Женеву, к большому другу Вячеслава Иванова — Л. Н. Веберу, который был женат на рано умершей талантливой русской художнице Машеньке Якунчиковой. Я оставался в Швейцарии полгода и вернулся в Петербург другим человеком, — гораздо более позитивным (Вячеслав Иванов не мог бы уже говорить обо мне, как об истерике в синей рубашке). Я продолжал увлекаться поэзией, но мистика уже не имела надо мной той власти, как в 1907 году. Я неизменно посещал среды Вячеслава Иванова, но редко бывал в другие дни, реже вел мистические разговоры с Вячеславом и не смотрел уже на него как на непогрешимого бога. Сезон 1908-1909 года мало сохранился у меня в памяти. С осени 1909 года я стал всё более отдаляться от Вячеслава Иванова и от башни. Произошло это

по множеству причин: прежде всего потому, что я стал более заниматься университетом. Но главной причиной нашего расхождения было мое разочарование в новом течении, которое по-моему явно шло на убыль. 1908 и 1909 годы не были таким взлётом, как 1906 и 1907. С другой стороны большую роль в нашем расхождении сыграло желание Вячеслава Иванова удалить меня от себя, а в особенности от Веры. В 1909 году я думал, что женюсь на Вере, хотя до меня и доходили слухи, которым я не верил, что Вячеслав Иванов стал мужем своей падчерицы; в 1910 году стало совершенно несомненным, что моей женитьбы никогда не будет. Не только Вячеслав удалял меня от Веры, но и сама Вера явно избегала меня.

Летом 1910 года я принимал участие в экскурсии Ф. Ф. Зеллинского в Грецию, принимала участие в этой экскурсии и Вера. По возвращении из Греции я издал книжечку стихов «Гимны и Оды», единственную, которую я любил и продолжаю любить. Этой книжечкой я не мог не похвастаться перед Вячеславом Ивановым. Как только она была отпечатана, я пошел с нею на башню. Я совершенно был уверен, что Вячеслав Иванов поймет и оценит мои «Гимны и Оды», насквозь проникнутые античностью и имеющие точки соприкосновения с ним. Я уверен был, что он заинтересуется моими опытами передачи разных античных строф по-русски и признает меня своим достойным учеником.

Вячеслав Иванов принял меня в круглой зале; Вера не выходила. Я сделал большую надпись на книге: «В день Преображения Господня 6 августа 1910 года» и дал ее Вячеславу. Он очень небрежно посмотрел и сейчас же стал говорить о... «Книге о русских поэтах последнего десятилетия». — Ну, что же, можете вы наконец ответить на вопрос, которым вы кончаете свою вступительную статью? — Да, могу: я был неправ в самой постановке этого вопроса: я неправильно связывал судьбу русской поэзии с судьбой одного маленького и преходящего течения в ней. Русская поэзия, создавшая Пушкина, Боратынского и Тютчева, будет существовать вечно, а это течение, которому посвящена моя книга, уже умирает, если еще не умерло. — И я стал было развивать свою мысль: — во что превратился Бальмонт? что стало с Брюсовым, с Федором Сологубом и другими поэтами? даже Блок, несомненно самый большой поэт современности, пишет иногда прекрасные отдельные стихотворения, но что он сделал после 1907 года, что могло бы стать наравне с «Нечаянной радостью», «Ба-

лаганчиком», «Незнакомкой» и «Снежной маской»? Нет, новые поэты уже мертвы. Развивая эту мысль об ущербе современной русской поэзии, я внезапно был прерван истерическим криком Вячеслава Иванова:

— Как вы смеете являться к поэту и говорить ему, что он мертв...

Мне ничего не оставалось, как встать, поклониться и, не простившись за руку с Вячеславом Ивановым, уйти с тем, чтобы больше никогда не приходиться на башню.

Еще раз я увидел Вячеслава Иванова в 1921 году, когда он печально жил в Москве, потеряв Веру, оставившую ему сына. Мы с ним помирились, но это примирение было больше официальное: мне было от всего сердца жаль Вячеслава Иванова, и поэтому я и пошел помириться с ним, но о возобновлении дружбы не могло быть и речи: он стал для меня уже чужим человеком, и только прошлое осталось навсегда в сердечной памяти.

М. Л. Голфман

**
*

А если дорога не та
И целую жизнь — напрасно...
И только обман, мечта
Тот зов ежечасный...

Сомненье страшней потерь —
К земле пригибает, косит,
Пока не откроется дверь,
И ветер сметает, уносит.

Екатерина Таубер